



Г. Н. КУЗНЕЦОВА

Грасский дневник

<фрагменты>

<...>

24 июля 1927

Приехал Роцин <...> он уже строит планы насчет поездки в горы, в Ниццу, чем вызывает неудовольствие И. А., всячески старающегося поддерживать рабочее настроение в себе и других. Сам он начал большой роман и боится перерывов в работе. <...>

8 июля 1927

<...> Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И. А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И. А. Он кричал, например, вчера о Блоке: «Лакей с лютней, выйди вон!», чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам.

<...>

25 июля 1927

<...> Я очень сокрушаюсь тем, что не записываю многого о нем, это так приятно перечитывать потом. Ведь многое забывается, хотя у меня отличная память. Сколько он говорил мне интересного, значительно, важного, а я не записала, поленилась, забыла... Хотя бы его присказки, пословицы, словечки. Он часто говорит с печалью и некоторой гордостью, что с ним умрет настоящий русский язык — его остроумие (народный язык), яркость, соль.

Правда, пословицы и песни часто неприличные, но как это сильно, метко, резко выражено. <...>

8 августа 1927

Говорили вчера о писании и о том, как рождаются рассказы. У И. А. это начинается почти всегда с природы, какой-нибудь картины, мелькнувшей в мозгу, часто обрывка. Так, «Солнечный удар» явился от представления о выходе на палубу после обеда, из света в мрак летней ночи на Волге. А конец пришел позднее. «Ида» тоже от воспоминания о зале Большого московского трактира, о белоснежных столах, убранных цветами; «Мордовский сарафан», где, по его собственным словам, сказано «о женском лоне» то, что еще никем не говорилось и не затрагивалось, ведет начало от какой-то женщины, вышивавшей черным узором рубаху во время беременности. Часто такие куски без начала и конца лежали долгое время, иногда годы, пока придумывался к ним конец. <...>

24 августа 1927

<...> И. А. тоже не работает. Впрочем, его волнует история с «Возрождением», откуда он ушел из-за вынужденного ухода П. Струве. В доме по этому случаю бесконечные дебаты.

29 августа 1927

<...> Вчера после прихода почтальона меня позвали в кабинет и там я застала горячее обсуждение только что полученного от Шмелева из редакции «Возрождения» письма. Шмелев пишет, что не уходит из газеты, национальный облик которой необходимо сохранить. Это превыше, как он пишет, личных счетов. В. Н., которая особенно горячо настаивала на уходе И. А., очень возмущалась этим письмом, находя его лицемерным, горячася, бранила Шмелева. Ей очень поддакивал Рощин. <...>

Я предпочитаю не ввязываться в этот спор. Я понимаю все сложности, по которым ушел И. А., но ведь газета действительно остается без лучших сотрудников и погибнет, вероятно, как национальный орган. <...>

27 октября 1927

<...> Давно не писала и как-то отвыкла и словно утомилась писанием о прошлом; впрочем, вероятно, это отчасти и оттого, что я слишком много сил отдаю роману И. А., о котором мы говорим чуть не ежедневно, обсуждая каждую главу, а иногда и не-

которые слова и фразы. Иногда, когда он диктует мне, тут же меняем, по обсуждению, то или иное слово. Сейчас он дошел до самого, по его словам, трудного — до юности героя, на которой он предполагал окончить вторую книгу.

<...>

8 ноября 1927

Не писала, так как с утра до вечера была занята печатанием. В восемь дней переписала первую книгу и треть второй, т. е. около 100 больших страниц. Устала, но рада, что кончила так быстро. Я видела, как И. А. хотелось поскорее иметь совершенно чистый экземпляр.

9 ноября 1927

Рукопись сброшюрована, проверена, совсем готова для печати, но И. А., по обыкновению, ходит и мучается последними сомнениями: посылать или не посылать? Печатать в январской книжке или не печатать? Но, думаю, исход предрешен — он пошлет, помучив себя еще несколько дней. По складу его характера он не может работать дальше, не «отвязавшись» от предыдущего. В. Н. против печатания, во многом она права, но ведь приходится считаться с характером И. А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним. <...>

5 декабря 1927

И. А. дал мне пачку своих стихов для того, чтобы я отобрала их для книги, которую он хочет давно издать. Отбирая, невольно изумилась тому, как мало у него любовной лирики и вообще своего, личного в поэзии. За все время четыре-пять стихотворений, в которых одной-двумя строками затронута любовная тема. Спросила его об этом. Говорит, что никогда не мог писать о любви, по сдержанности и стыдливости натуры и по сознанию несоответствия своего и чужого чувства. Даже о таких стихах, как «Свет незакатный», «Накануне», «Морфей», говорит, что они нечто общее, навеянное извне. Я много думала над этим и пришла к заключению, что непопулярность его стихов — в их отвлеченности и скрытности, прятания себя за некой завесой, чего не любит рядовой читатель, ищущий в поэзии прежде всего обнаженья души.

<...>

12 декабря 1927

<...> Я остановила И. А. у кустов мелких красных роз, свисавших сверху гибкими ветками. Он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь? И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальцы: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно».

Потом остановились подле апельсинового дерева, покрытого крупными, уже желтеющими плодами. Апельсиновое дерево для меня что-то чудесное. Я всегда, представляя себе Рай и то дерево, с которого сорвала плод Ева, представляла себе его, а не безобидную северную яблоню. Сказала об этом И. А., он с жаром подтвердил: «Конечно. Ведь сказано просто — сорвала плод, а не яблоко, это уже прибавили потом, да и вообще плод надо понимать символически...»

Он пригнулся, стал ходить под деревом, собирать упавшие апельсины, покрытые темно-зеленой шершавой кожей.

«Не могу видеть этого дерева спокойно, — сказал он, — как увижу, как услышу запах апельсиновой корки, сейчас же вижу зиму на Капри, тусклый блеск на море, над которым ревет трамонтана, и сады, где под бледным солнцем зреют апельсины в полусне, в дремоте... да, именно в дремоте, под этим бледным зимним солнцем, под зимним ветром... Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!» <...>

22 декабря 1927

Настроение всего дома поднялось. Фондаминский прислал письмо, в котором предлагает издать «Арсеньева» при «Современных записках», что очень выгодно. Главное же, из этого письма стало понятно, что роман возбуждает интерес и что все вовсе не так безнадежно, как представлялось И. А. Правда, И. А. колеблется, говорит, что написаны всего две части, что нельзя давать согласия, не имея ничего в руках... но уже чувствуется в нем поворот, оживление, может быть, интерес к писанью. <...>

30 декабря 1927

Были в гостях Пилкины с сыном Колчака. <...>

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

<...>

5 января 1928

<...> Раз в неделю ходим в синема. Фильмы, правда, одна неудачней другой, но мы с И. А. не можем отучиться от тяги к синема и, побранив одну, идем на другую. Здешняя убогая «Олимпия» — место свиданья всего Грасса. У каждого свое обычное место, все знают друг друга. В. Н. синема терпеть не может и от нелюбви обычно не следит за ходом действия и ничего не понимает, мы должны ей все время объяснять. Вчера был вечер «Олимпии»: была картина с ковбоями и скачкой, что особенно любит И. А. <...>

7 февраля 1928

Мы шли по ниццской дороге и говорили о второй части «Жизни Арсеньева». Пройдя довольно далеко, заметили, что ночь хороша, что лунный дым стоит по всей долине и черными столбами поднимаются ввысь кипарисы. И. А. говорил:

— Какой поднос получился! Тут и рябчики, и черная икра, и ананасы, и черный хлеб... Что это я наворотил! А как не писать, например, дальше о следующем лете, после моей зимней влюбленности в Анхен? Оно было тоже, пожалуй, удивительнейшим в моей жизни. Я испытывал чувство влюбленности в Сашу Резвую, дочь соседа помещика, красивую девочку с голубыми «волоокими» глазами. Я решил не спать по ночам, ходить до утра, писать... Я чуть не погубил себе здоровье, не спал почти полтора месяца, но что это было за время! Под моим окном густо рос, цвел в ту пору жасмин, я выпрыгивал прямо в сад, окно было очень высоко над землей; тень от дома лежала далеко по земле, кричали лягушки, иногда на пруду резко вскрикивали испуганные утки — ка-ка-ка-кра! — я выходил в низ сада, смотрел за реку, где стоял на горе ее дом... И так до тех пор, пока не просыпалось

все, пока не проезжал водовоз с плещущей бочкой... Как не написать всего этого! И нельзя, испортишь...

<...> Весь обратный путь мы говорили о романе, о том, как можно было бы писать его кусками, новым приемом, пытаюсь изобразить то состояние мысли, в котором сливаются настоящее и прошедшее, и живешь и в том и в другом одновременно.

Когда подымались по дороге к нашей вилле, между каменными оградами, по белой от луны тропинке, И. А. сказал:

— Запомни этот разговор и напхни мне потом...

<...>

22 августа 1928

<...> Возможно, что И. А. поедет в Сербию, на съезд писателей, и тогда это выбьет всех нас из колеи. Живем мы очень однообразно, много тише, чем в прошлом году. И. А. долго бесплодно мучился над началом третьей книги «Арсеньева», исхудал и был очень грустен, но в конце концов сдвинулся с места, и теперь половина книги уже написана. Третья книга опять очень хороша, но мне чего-то жаль в маленьком Арсеньеве, который уже стал юношей, почти беспрестанно влюбленным и не могущим смотреть без замиранья сердца на голые ноги склонившихся над бельем баб и девок...

Вообще И. А. не тот, что был раньше. Перемена эта трудно уловима, но я знаю, что она — в отсутствии той молодой, веселой отваги, которая была в нем год-два назад и так пленяла. Он внутренне притих, глаза у него часто стали смотреть грустно... «Ничто так не старит, как забота», — часто поговаривает он. Но все же он часто шутит, даже танцует по комнате, делает гримасы перед зеркалом, изображая кого-нибудь (и всегда изумительно талантливо), дразнит капитана так, что тот приседает от смеха.

<...>

27 августа 1928

Вчера, в воскресенье, были в Горж-дю-Лу. Было очень хорошо, но И. А. зевал и утверждал, что будет дождь, а он в смысле предсказаний погоды лучше барометра.

<...> Когда мы вышли из ущелья на мост, предсказанье И. А. стало сбываться — небо затянуло серыми тучами, вершины гор стали дымиться. Пошли пешком по шоссе, по направлению к дому. Шли и спорили, главным образом, конечно, В. Н. с капи-

таном, на тему о том, достаточно ли было содержание офицеров в России лет двадцать назад. Капитан утверждает, что оттого и шли в офицеры, что соблазняла обеспеченность, а В. Н., наоборот, доказывала, что ее брат, офицер, нуждался и жил с трудом. И. А. поддерживал капитана, бранил Куприна за «Поединок», говоря, что того, что там написано, не было: краски безбожно сгущены. <...>

За обедом разгорелся другой спор, в котором уже В. Н. и я были против И. А., поддерживаемого капитаном. Спорили о повести одной молодой писательницы, которую И. А. при Илюше очень хвалил, а теперь отрицал это и говорил, что «надо понимать от-тенок» и что говорилось это в относительном смысле. Я разгорячилась, забывая, что к И. А. обычные мерки неприменимы и что надо помнить о его беспрестанных противоречиях, нисколько, однако, не исключаяющих основного тона. Так, о Чехове, о котором он говорил как-то восхищенно, как о величайшем оптимисте, в другой раз, не так давно, он говорил совершенно противоположно, порицая его как пессимиста, неправильно изображавшего русскую провинциальную жизнь, и находя непрымимым и нелюбезным его отношение к людям, восхищавшимся его произведениями.

Впрочем, вечером мы с ним вполне помирились. Сегодня он пишет статью для «Последних новостей» о Толстом. Толстой неизменно живет с нами в наших беседах, в нашей обычной жизни.

2 сентября 1928

Вчера и позавчера был сербский профессор Белич, ночевал. Говорили, кажется, восемь часов подряд вечером и пять утром. Он говорил о съезде писателей в Белграде, о предполагаемом журнале, о книгоиздательстве. Приглашал И. А. быть редактором журнала с Мережковским и Струве. Соединение противоестественное и заранее обрекающее журнал на гибель, и И. А. разумно отказался. Да и не о том он теперь должен думать... Выяснилось, что съезд не имеет ничего общего с сербами и затеян русскими. Значит, И. А. может без зазрения совести не ехать, а побывать в Белграде его приглашают зимой. Говорили об этом отдельно. Возможно, что поедем туда все вместе вместо Парижа в январе. <...>

17 сентября 1928

<...> В доме сейчас тоже нервность по поводу издания стихов И. А., переписки с Белградом, со знакомыми, на все лады изве-

щающими о том, о сем, касающемся издательства, журнала, Белича — словом, всех благ, ожидаемых от Сербии. В конце концов выходит то, о чем в первые трезвые моменты говорили И. А. и Ходасевич. Журнал и вся эта история с Сербией является тем клубком кишок, на которые бросаются чайки и с визгом начинают драть его во все стороны. А на деле — никому ничего. Мережковских все дружно бранят. Каждый день со всех концов письма с возмущениями по поводу их поведения на съезде, по поводу того, другого, пятого, десятого... Хуже всего, что И. А. волнуется, а не следовало бы. Махнуть бы рукой на все это и жить спокойно. О В. Н. и говорить нечего. Она белеет и краснеет двадцать раз в минуту при всяком разговоре об издании книги И. А. О, Боже, какой в сущности невыносимо нервный дом! <...>

22 октября 1928

Разговор с И. А. у него в кабинете. В окнах красная горная заря, мохнатые лиловые тучи. Он ходит по комнате, смотря под ноги, и говорит об «Арсеньеве».

— Сегодня весь день напряженно думал... В сотый раз говорю — дальше писать нельзя! Жизнь человеческую написать нельзя! Если бы передохнуть год, два, может быть, и смог бы продолжать... а так... нет. Или в четвертую книгу, схематично, вместить всю остальную жизнь. Первые семнадцать лет — три книги, потом сорок лет — в одной — неравномерно... Знаю. Да что делать?

Как давно уже он мучается этим! Уже перед третьей книгой говорил то же. А теперь уж и не знаю, что будет... <...>

20 декабря 1928

Прочли в газетах о трагической смерти критика Айхенвальда. И. А. расстроился так, как редко я видела. Весь как-то ослабел, лег, стал говорить: «Вот и последний... Для кого теперь писать? Младое незнакомое племя... что мне с ним? Есть какие-то спутники в жизни — он был таким. Я с ним знаком с 25 лет. Он написал мне когда-то первый... Ах, как страшна жизнь!»

22 декабря 1928

<...> пришла почта и, как всегда, по большей части расстроила. Илюша написал И. А., что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял

Александра II-го, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. <...>

И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы, в сущности мало им близкие, потому что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульфу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распахивает окно, за которым золотится луна среди облаков, и сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове: «Вот! Это и недлинно, 27 лет всего... Надо согласиться!»

Но тут же стал говорить, что это все-таки «мануфактура», хотя и надо согласиться, надо быть в первых рядах действующей армии, тем более что ведь все это будет на четырех языках...

<...>

28 декабря 1928

Зашла перед обедом в кабинет. И. А. лежит и читает статью Полнера о дневниках С. А. Толстой. Прочел мне кое-какие выписки (о ревности С. А., о том, что она ревновала ко всему: к книгам, к народу, к прошлому, к будущему, к московским дамам, к той женщине, которую Толстой когда-то еще непременно должен был встретить), потом отложил книгу и стал восхищаться:

— Нет, это отлично! Надо непременно воспользоваться этим как литературным материалом... «К народу, к прошлому, к будущему...» Замечательно! И как хорошо сказано, что она была «промокаема для всяких неприятностей!»

А немного погодя:

— И вообще нет ничего лучше дневника. Как ни описывают Софью Андреевну, в дневнике лучше видно. Тут жизнь как она есть — всего насовано. Нет ничего лучше дневников — все остальное брехня! Разве можно сказать, что такое жизнь? В ней всего намешано... Вот у меня целые десятилетия, которые вспоминать скучно, а ведь были за это время миллионы каких-то мыслей, интересов, планов... Жизнь — это вот когда какая-то там

муть за Арбатом, вечереет, галки уже по крестам расселись, шуба тяжелая, калоши... Да что! Вот так бы и написать... <...>

6 января 1929

<...> И. А. пришел с сообщением, что умер великий князь Николай Николаевич и что завтра надо ехать в Антиб на панихиду.
<...>

13 января 1929

<...> Новогодний, бесконечно печальный вечер. И. А. раздражителен, мрачен, все его сердит — значит, опять прежнее недомоганье, которое вот уже месяц, как вернулось к нему, после двухлетнего перерыва. Не помогли ни курица, ни шампанское. Все кажется ему неприятным, безвыходным, сложным.

Жаль его ужасно и трудно иногда сдерживаться — характер у него от этого резко меняется, и это так странно и дико мне, знавшей его таким добрым, сияющим, неутомимым...

Кроме того, он до сих пор под впечатлением зрелища вел. князя в гробу.

<...>

9 мая 1929

<...> Днем пололи с Илюшей дорожки в саду, обрезали засохшие прошлогодние цветы. И. А., гулявший среди всего зеленого великолепия первого почти летнего дня в своей новой красной пижаме останавливался, смотрел на нас и говорил:

— Все это ни к чему. Трава растет, где ей Бог повелел...

Его деревенская натура не терпит никаких ухищрений над природой. Так не любит фонтанов, парков, Булонского леса. <...>

12 мая 1929

Вчера за обедом Илья Исидорович рассказывал о том, что, читая два года об Империи, он только в последние дни почувствовал ее, стал представлять ее себе:

— Каждую вещь представляешь себе как-то издали. Империю я представляю себе как какой-то ассирийский храм, величественный и мрачный. Люди сгибались от тяжести этого храма. Они любили царя, поклонялись ему, видели в нем отца, но на устах у них даже в праздники не было улыбки.

И. А.:

— Это зависит от свойства русского человека. Никто так тяжело не переносит праздник, как русский человек. Я много писал об этом. И все остальное проистекает отсюда. В русском человеке все еще живет Азия, китайщина... Посмотрите на купца, когда он идет в праздник. Щеки ему еще подпирает невидимый охабень. Он еще в негнущихся ризах. И царь над этим народом под стать ему, и в конечном счете великомученик. Все в нас мрачно. Говорят о нашей светлой радостной религии... ложь, ничто так не темно, страшно, жестоко, как наша религия. Вспомните эти черные образа, страшные руки, ноги... А стояние по восемь часов, а ночные службы... Нет, не говорите мне о «светлой» милосердной нашей религии... Да мы и теперь недалеко от этого ушли. Тот же наш Карташев*, будь он иереем — жесток был бы! Был бы пастырем, но суровым, грозным... А Бердяев? Так бы лют был... Нет, уж какая тут милосердность. Самая лютая Азия... <...>

28 мая 1929

Говорили о «Легком дыхании».

Я сказала, что меня в этом очаровательном рассказе всегда поражало то место, где Оля Мещерская весело, ни к чему, объявляет начальнице гимназии, что она уже женщина. Я старалась представить себе любую девочку-гимназистку, включая и себя, — и не могла представить, чтобы какая-нибудь из них могла сказать это. И. А. стал объяснять, что его всегда влекло изображение женщины, доведенной до предела своей «утробной сущности». «Только мы называем это утробностью, а я там назвал это легким дыханьем. Такая наивность и легкость во всем, и в дерзости, и в смерти и есть “легкое дыханье”, недуманье. Впрочем, не знаю. Странно, что этот рассказ нравился больше, чем “Грамматика любви”, а ведь последний куда лучше...»

<...>

12 июня 1929

<...> И. А. все пишет варианты начала четвертой книги, и я уже начинаю смотреть на него почти с набожным изумлением его терпению и упорству — ведь это длится уже с месяц, если не больше, и до сих пор еще нет ни кусочка для перепечатывания!

<...>

* Проф. Богословской академии в Париже А. В. Карташев.

1 августа 1929

Вчера кончена 4-я книга «Арсеньева». Кончив ее, И. А. позвал меня, дал мне прочесть заключительные главы, и потом мы, сидя в саду, разбирали их. Мне кажется, это самое значительное из всего того, что он написал. Как я была счастлива тем, что ему пригодились мои подробные записи о нашем посещении виллы Тенар!

После окончания он как-то ослабел, как всегда, и вдруг сказал:

— Вот кончил и вдруг нашел на меня страх смерти... <...>

4 июня 1930

И. А. читает дневник Блока, как обычно, внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... И начало в нем было здоровое...» <...>

10 сентября 1930

<...> Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражанья. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищенья ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу... <...>

15 октября 1930

<...> В автобусе говорили об «Алешке Толстом» и о его Петре I. Мне книга, несмотря на какую-то беглость, дерзость и, как гово-

рит И. А., лубочность, все же нравится. В первый раз я почувствовала дело Петра, которое прежде воспринимала каким-то головным образом. Нравится она и И. А., хотя он и осуждает лубочность и говорит, что Петра видит мало, зато прекрасен Меншиков и тонка и нежна прелестная Анна Монс. «Все-таки это остатки какой-то богатырской Руси, — говорил он о А. Н. Толстом. — Он ведь сам глубоко русский человек, в нем все это сидит. И, кроме того, большая способность ассимиляции с той средой, в которой он в данное время находится. Вот писал он свой холопский 1918 год, и на время писания был против этих генералов. У него такая натура». <...>

2 ноября 1930

<...> Мы всю дорогу говорили о Сирине, о том роде искусства, с которым он первый осмелился выступить в русской литературе, и И. А. говорил, что он открыл целый мир, за который надо быть благодарным ему. <...>

3 февраля 1931

<...> За завтраком говорили о Толстом, Достоевском, К. Леонтьеве и Ходасевиче, о прозе Пушкина. И. А. с распушенными после вчерашней мойки волосами, в новом костюме «дубового» цвета, был очень оживлен и любезен. Адамович говорил, что будто бы у Ходасевича в уме есть что-то общее с К. Леонтьевым, который ему в общем не очень нравится. И. А. все обрубал своим решительным: «замечательный человек»!

Заговорили о прозе Толстого и Пушкина.

«Проза Пушкина, — сказал И. А., — суховата, аристократична рядом с прозой Толстого, как может быть аристократична проза Петрония, который все знал, все видел и если и решил написать о пире, где подавались соловьиные язычки, то не унижится — вы понимаете, в каком смысле я говорю это, — до изображения и описания этих соловьиных язычков, а просто скажет, что их подавали. А Толстой был слишком чувственен для этого». <...>

16 апреля 1931

Вчера после обеда Ф. А. (Степун) и И. А. заспорили.

— Вы вот пишете всякие «Мысли о России», — говорил И. А., — а между тем совсем не знаете настоящей России, а все

только ее «инсценировки» всяких Белых, Блоков и т. д., а это не годится.

Ф. А. начал говорить о том, что он приемлет и И. А. с его диапазоном, но ему нужен и Белый, и Блок, и его Россия, и его «хлыстовство» (разумая под этим всякое опьянение), и «плат узорный до бровей».

— Для меня, если я нахожу в Бунине нечто от А до Л, Блок дает мне от Л до Э. Для меня соединение этих двух разных ключей, как в музыке, есть обогащение. Если я приму одного Бунина — я обедню себя... Кроме того, Блок скажет мне что-то такое, чего недостает мне в вас. У вас, например, нет безумия, невнятицы. Вы о безумии, о невнятице говорите внятно, разумно...

— Как! Как! А Иоанн Рыдалец, а Шаша, раздирающий собственную печеньку, а Аверкий, умирающий в пустоте!..

— Вы об этих ваших персонажах говорите разумно. Для меня вы и Блок как Моцарт и Бетховен. От каждого я получаю что-то иное... И то, что вы не терпите рядом с собой другого, может быть, есть именно только доказательство вашей творческой мощи. Мы нашу справедливость искупаем известным творческим бессилием. А вы по звездам стреляете — так что же вам быть справедливым!

Потом И. А. доказывал, что Россия Блока с ее «кобылицами, лебедями, платами узорными» есть, в конечном счете, литература и пошлость:

— Не надо забывать, сколько тут идет от живописи, от всяких «Миров искусства», от того, что писали картины, где земли было вот столько (он показал на три четверти), а неба — одна щель и на нем какая-то лошадь и овин. А России настоящей они не знали, не видели, не чувствовали!

— А я думаю, что если вы — русский человек, то вы один из полюсов русской жизни, — стоял на своем Степун.

— Это была кучка интеллигентов, — не слушая, говорил И. А. — Россия жила помимо нее.

Потом Ф. А. читал — очень выразительно, — Блока.

— Теперь я понимаю тайну их успеха, — сказал И. А. — Это эстрадные стихи. Я говорю не в бранном смысле, понимаете. Он достиг в этом большого искусства... И вообще, если я чувствую в произведении ауру художника, это меня уже болезненно ранит. Для того, чтобы произведение было вполне хорошим произведением, я должен чувствовать в нем только его ауру — ауру произведения.

<...>

13 ноября 1931

Ходили втроем гулять по каналу. И. А. рассказывал о своей первой книжке стихов, которая вышла как приложение к «Орловскому вестнику». Ему было лет 19. Обложка книжки была из бумаги, на которой чередовались: китаец, домик, мостик. «Одним словом, вроде той, которой оклеивают в некоторых местах уборные. Редактор «Вестника» был, конечно, человек сумасшедший. Представьте себе, кому нужна была эта книжка в Орле! Но за нее дали мне 40 рублей, а мне хотелось шляться, вот я и взял».

— В вас действовал верный инстинкт. Вам тогда нужно было шляться, — сказала я.

— Да, конечно, И. А., — сказал Л. — Вот мне, например, как бы полезно, если бы деньги, сесть в поезд и поехать куда-нибудь в Бургундию или даже по Провансу.

— И очень жаль, что я тогда шлялся, — сказал И. А., — если бы я тогда не терял времени и вовремя учился, работал — чего бы мог наделать!

— Как! — воскликнул Л. — Да ведь надо работать над чем-то! Ведь то, что вы тогда ездили, дало вам потом материал для работы!

— В молодости, когда чувства и душа недостаточно развиты, видимое чаще всего подавляет. Для того чтобы почувствовать, надо тоже быть в известном возрасте.

Мы вышли на обрыв и сели на камни, глядя вниз, где в голубом тумане делала петлю дорога и широко, до моря, разлеглась долина, усеянная россыпью белых домиков. Позади были горы — оттуда стукнул выстрел.

— Вот разве я, когда слышал, как отец стреляет, разве я мог почувствовать этот выстрел, то, что он сначала как бы ударился во что-то, а потом разорвался... и многое другое, что бы я добавил сейчас и чего не мог бы разобрать тогда, — снова заговорил И. А. — Вообще, пока человек молод и неразвит, его или подавляет виденное, или, напротив, так изумляет, что он ничего не может о нем сказать. Пока человек не вышел из чего-нибудь, не возвысился над ним — не он владеет им, а оно им. Все настоящее начинается собственно с 33-х лет.

— Поэтому И. А., я думаю, лучше всего писать не о себе. Молодому автору лучше быть подальше от себя, — сказал Л.

— Ну отчего же? Напротив, все делали как раз так. Сначала пишут о себе.

— Ну тогда надо как-то очень изменять.

— А Толстой? Очень изменить — вместо Левочка назвать Николенька.

— Почему вы, И. А., так мало ездили по России? Вот это ваша ошибка, вы должны были бы все объездить.

— Да ведь это вам, когда вы потеряли Россию, все представляется так. А мне что же? Когда есть свой дом, в некоторые комнаты и не думаешь заглядывать. А когда потерял — кажется, всюду бы пошел. В Париже вон все бегут осматривать Нотр-Дам, а в Москве разве кто-нибудь ходил в Кремль?

— Я в Париже не видела могилы Наполеона, до сих пор не была в Инвалидах, — сказала я.

— И ничего не потеряла, — ответил И. А. — Более неудачно устроить могилу Наполеона нельзя было. Это производит не больше впечатления, чем кафельный пол в уборной.

<...>

9 марта 1932

В воскресенье, шестого, ездили с И. А. гулять. <...>

Я стала спрашивать его о его первой жене Анне Николаевне Цакни. Он сказал, что она была еще совсем девочка, весной кончившая гимназию, а осенью вышедшая за него замуж. Он говорил, что не знает, как это вышло, что он женился. Он был знаком несколько дней и неожиданно сделал предложение, которое и было принято. Ему было 27 лет.

Когда я теперь вспоминаю это время — это было в сентябре в Одессе, — мне оно представляется очень приятным. И вот нельзя, собственно, никому сказать этого — из чего состояло это приятное? Прежде всего из того, что стояла прекрасная сухая погода, и мы с Аней и ее братом Бебой и с очень милым песиком, которого она нашла в тот день, когда я сделал ей предложение, ездили на Ланжерон. Надо сказать, что в Ане была в то время смесь девочки и девушки, и «дамское» выражалось в ней тем, что она носила дамскую шляпу с вуалью в мушках, как тогда было модно. И вот через эту вуаль ее глаза — а они у нее были великолепные, большие и черные — были особенно прелестны. Ну, как сказать, из чего состояло мое приятное состояние в это время? Особенной любви никакой у меня к ней не было, хотя она и была очень милая. Но вот эта приятность состояла из этого Ланжерона, больших волн на берегу и еще того, что каждый день к обеду была превосходная кефаль с белым вином, после чего мы часто ездили с ней в оперу. Большое очарование ко всему этому при-

бавлял мой роман с портом в это время — я был буквально влюблен в порт, в каждую округлую корму.

Он рассказал, как начались вкоре у них недоразумения с женой. Ее очень настраивала против него мачеха — Элеонора Павловна, «которая сначала была просто до неприличия влюблена в меня, а потом так же неприлично возненавидела». Привело все это к тому, что после двойного отъезда, он совсем уехал от жены, которая в это время была беременна, месяце на пятом.

Ребенок, сын, прожил лет до пяти. Был он хорошенький мальчик. Виделся он с ним раз пять в году, причем «в это время весь дом затворялся у себя и дышал на меня злобой». Мальчик выбежал, бросался к нему на шею и звонко кричал: «Папа, покатай меня на трамвае!» Это казалось ему верхом счастья. Умер он от скарлатины. Есть карточка его на смертном одре. Он в бархатном костюмчике, в лакированных башмаках, лежит очень вытянувшись.

— Вы его любили?

— Я мало, в сущности, его видел. К тому же я не очень сознавал в себе отца. А Анна Николаевна пролила много слез.

Я стала говорить ему о том, как все это хорошо должно у него выйти в «Жизни Арсеньева». Он сказал сначала, что не думал об этом писать, но постепенно разогрелся и в конце концов сказал, что об этом «уже и правда можно было бы написать».

Во время следующей прогулки — вчера — он заговорил об этом сам, рассказал о том, что отец Анны Николаевны Цакни был революционер, эмигрант довольно видный, что в Париже ему приходилось так туго, что он мел улицы, а зато потом в Одессе они были богаты. Мачеха А. Н. была богатая женщина. У них были имения, виноградники. «Подумать только, что я мог бы поехать под Балаклаву в имение, жить на виноградниках, управлять всем этим, стать богатым человеком. Но мне это и в голову не приходило. Связывать себя! Вот как я это понимал».

Я спросила, как отдали за него, ничего в то время не имевшего, богатую наследницу.

— Да я и сам не знаю! — сказал он. — Отец ее был типичный интеллигент. Мы вместе ехали из Одессы к ним на дачу на паровичке. Стояли на площадке и курили. Я вдруг сказал: «Прошу у вас руки вашей дочери». Он сдвинул пальцами шляпу на затылок, посмотрел на меня и сказал: «Да я-то тут, дорогой, при чем? Это, мне кажется, дело Анны Николаевны! А что касается меня — я ничего против не имею».

Когда они затем встретились — она уже, вероятно, знала об этом предложении. Они возвращались откуда-то из города — она

и мачеха. Она в темноте протянула руку, нащупала его руку и вложила в нее туберозу. Это было сделано очень мило и невинно. <...>

11 марта 1932

<...> Я сказала, что, в сущности, у И. А. много родственников. И вдруг он внезапным быстрым голосом сказал:

— Если ты знаешь, что Евгений или Маша умерли — не говори мне! Я испытала такое чувство, как будто меня ударили в грудь — незадолго перед этим пришло известие о их смерти, которое скрыли от И. А.

Дальше, на подъеме, он говорил уже другим тоном о том, где они должны быть сейчас, рисовал улицу в Ростове-на-Дону, домик, лампочку, под которой должна сидеть сейчас Маша... <...>

15 июня 1932

<...> «Перечел “Арсеньева”. Простодушная книжонка!» — с каким-то неодобрительным смехом сказал вчера И. А. Сегодня перечла и я первые его главы. Нет, не такая уж «простодушная» ... <...>

26 июня 1932

<...> И. А. опять пытается писать «Арсеньева» и опять жжет написанное и отчаивается. Кроме того, у него опять припадки его болезни, и он время от времени раздражается. Но вчера вечером, хотя он и был раздражен, мне было его жаль: он похудел, лицо стало какое-то маленькое, и в глазах тоска. <...>

27 июня 1932

Давно заметила в И. А. такую черту: он просит дать что-нибудь почитать. Я выбираю ему какую-нибудь талантливую книгу и советую прочесть. Он берет ее и кладет к себе на стол у постели. Постепенно там нарастает горка таких книг. Он их не читает, а покупает себе где-нибудь на лотке какие-нибудь марсельские анекдоты, религиозные анекдоты XIX века, какое-нибудь плохо написанное путешествие. Вчера, застав его за перечитыванием купленного так «Дневника горничной» Мирбо, спросила, почему он предпочитает такое чтение. Он сначала шутил, потом ответил:

— Видишь ли, мне не нужны мудрые или талантливые книги. Когда я беру что-то, что попало, и начинаю читать, я роюсь себе впотьмах и что-то смутно нужное мне ищущу, пытаюсь вообразить какую-то французскую жизнь по какой-то одной черте... а когда мне дается уже готовая, талантливая книга, где автор сует мне свою манеру видеть, — это мне мешает...

Другими словами, одна индивидуальность не хочет другой индивидуальности...

<...>

8 сентября 1932

<...> Говорили о тех, кто владел Россией. И. А. говорил:

— В сущности, ты еще ни разу не подумала о том, что Россией одно время правил Керенский, этот самый неврастенический Онегин с моноклем в глазу. Потом был Ленин. А перед ними нервный, бледный офицер, без конца гладивший себе усы (он показал жестом как, чуть вдавливая кожу над губой внутрь). «Малообразованный офицер», — сказал о нем Толстой. Но он не подумал, что было в этом офицере. Ведь он не русский. В нем века разных наследственностей, в нем кровь английская, немецкая — он совсем особое существо. Цари — особая порода на земле. Ими нельзя сделать себя. Сколько Наполеон ни воздевай на себя императорскую корону — он не царь. А царица! Это совсем особая порода. Никто никогда не думал об этом! <...>

29 сентября 1932

И. А. читал мне переводы обращения Будды к монахам, восхищаясь высокой прелестью и общим строем этой речи. Потом попросил меня прочесть ему вслух его «Ночь отречения». Рассказал, как был в Кеннеди и видел в священной библиотеке пальмовые дощечки с начертанными на них круглыми знаками — буддийские книги. Показывал их ему верховный жрец, человек «с сумасшедшими, сплошь черными глазами, в желтой одежде, оставлявшей правое плечо открытым». Библиотека помещалась в подземелье, решетчатые окна которого приходились почти вровень с водой рва, и так как вокруг было много зелени, в комнате был зеленоватый отблеск. Стены были очень толстые с нарисованными на них драконами. Жрец подарил ему одну пальмовую дощечку, на которой стилетом написал тушью с золотом свое имя.

<...>

3 ноября 1932

<...> И. А. был подавлен. Накануне он перечитывал написанные им первые главы продолжения «Арсеньева». Сначала он был как будто доволен ими — особенно той, где говорилось о сближении с Ликой, а потом вдруг сразу все ему разонравилось.

Я все думаю, глядя на него, — как это таинственно! Почему он не мог писать этих глав, в которых ведь все заранее ему известно, в прошлом году, например? Почему надо было ему мучиться три года, прежде чем сесть писать то, что он уже вперед знал, потому что, по словам В. Н., все это так и было в его жизни? Да, вот загадка. Не созрело? Он сам не был готов, не смирился достаточно для того, чтобы решиться писать эту «ничтожную», как он говорит, т. е. обычную жизнь? Я смотрю на него и все думаю об этом. Вот, преодолев тяжелую преграду вступления, он очень быстро пишет страницу за страницей, отделявая и прибавляя кое-что к ней после того, как она уже перепечатана на машинке.

<...>

22 ноября 1932

И. А. пишет по 3—4 печатных страницы в день. Пишет один раз рукой, перед обедом дает перепечатывать их В. Н., исправляет и дает переписывать уже на плотной бумаге с дырочками мне.

Вечером ходит со мной гулять и говорит о написанном. Пишет он буквально весь день, очень мало ест за завтраком, пьет чай и кофе весь день. Вот уже больше месяца, если не полтора, длится такой режим. Нечего говорить, что он поглощен своим писанием полностью. Все вокруг не существует. Но разговоры по вечерам бывают исключительно интересны. И никогда еще так ясно не становилась для меня вся его натура, как в этом его теперешнем писании и высказывании... <...>

11 февраля 1933

Вчера после завтрака осталась у И. А. в кабинете, и он мне рассказал свой сон. Он видел во сне Ликку, выдуманную им, оживленную и ставшую постепенно существовать...

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он. — Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать, и вот сегодня во сне видел ее, уже старую женщину, но с остатками

какой-то былой кокетливости в одежде, и испытал к ней все те чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть, итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него, я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом. Он сидит по 12 часов в день за своим столом и если не все время пишет, то все время живет где-то там... Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю, как назвать еще, — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром.

<...>

